

Салманова И.Ф.

*Белгородский государственный институт
искусств и культуры, г. Белгород, Россия*

**ПЕРЕПИСКА КАК ФОРМА ФИЛОСОФСТВОВАНИЯ:
ОТ ПЕРЕПИСКИ Н.В. СТАНКЕВИЧА К ПЕРЕПИСКЕ
Л.Н. ТОЛСТОГО И Н.Н. СТРАХОВА**

Аннотация. Статья посвящена дружеской переписке как форме философствования, рассмотренной на примере писем Н.В. Станкевича к современникам и переписки Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова. Прослеживается эпистолярная традиция, раскрывающая новые грани отечественной философской мысли.

Ключевые слова: дружеская переписка, диалог, философствование, исповедь, традиция, самопознание, переживание, синтез, Н.В. Станкевич, Л.Н. Толстой, Н.Н. Страхов.

Salmanova I.F.

*Belgorod State Institute of Arts and Culture
Belgorod, Russia*

**CORRESPONDENCE AS A FORM OF PHILOSOPHIZING: FROM
N.V. STANKEVICH'S CORRESPONDENCE TO CORRESPONDENCE
BETWEEN L.N.TOLSTOY AND N.N. STRAKHOV**

Abstract. The article is devoted to friendly correspondence as a form of philosophizing, examined on the example of Stankevich's letters to his contemporaries and the correspondence between L.N. Tolstoy and N.N. Strakhov. An epistolary tradition is traced, revealing new facets of Russian philosophical thought.

Key words: friendly correspondence, dialog, philosophizing, confession, tradition, self-cognition, emotional experience, synthesis, N.V. Stankevich, L.N. Tolstoy, N.N. Strakhov.

Кульминация в развитии отечественной эпистолярной культуры наступает только в XVIII – первой трети XIX века, когда частная переписка начинает восприниматься как «факт литературы» [7, с. 121-137].

Непосредственное влияние на отечественную эпистолярную культуру западноевропейской романистики, успевшей ввести исповедальность в разнообразные литературные жанры, очевидна. «Романами» называли свою переписку, восходящую к литературе, питающуюся ею, люди XVIII в., чьи письма, не переставая быть средством связи, документом частной жизни, превращались в форму самопознания, самовыражения личности, форму освоения действительности» [3, с. 86]. «Литературность», обволакивая переписку, подчас превращала ее в подобие литературной игры; интимные излияния облекались в форму художественных упражнений, становились «книжным» способом чувствования и самовыражения. Эпистолярная

исповедальность, подчиненная литературной моде, становится предметом пародирования. Ярким примером такой пародии может быть «Моя исповедь» Н.М. Карамзина, который подвергает сомнению важнейший принцип исповеди – предельную искренность. Между тем, дружеская переписка, по словам П. Флоренского, «не терпит позы». В русской культуре опыт дружеской переписки остается благотворным, ничем не заменимым способом не только исповедального самораскрытия, но и формой философствования.

Л.Я. Гинзбург отмечала, что для молодого поколения 1830-х годов была свойственна напряженная философичность, своеобразно отразившаяся на стиле дружеской переписки. Авторское «я» превращалось в объект философии, и письмо приобретало лишь форму психологического анализа, наполненную весьма отвлеченным философским содержанием (письма Бакунина, Белинского [2, с. 82]). Развивая мысль Л.Я. Гинзбург, Л.Н. Морозенко отмечает, что «письма становились продолжением теоретических споров в философских кружках», имея в виду прежде всего кружок Н.В. Станкевича. «Вчерашний оппонент с той же горячностью развивал свои мысли в письме к другу. Нередко философия выражала не только систему мышления, но и строй чувств. Из науки умозрительной она превращалась в некую почти материальную среду существования личности» [6, с. 112]. Цитируя одно из писем Н.В. Станкевича, исследователь совершенно точно отмечает, что здесь «поэтическое философское размышление является одновременно исповедью сокровенных мнений и чувств. В нем нет боязни быть не понятым, оно проникнуто чистосердечным доверием к адресату» [6, с. 112]. Однако исповедальной переписку Станкевича, с точки зрения Морозенко, можно считать только в смысле формы передачи своего состояния, образа мыслей другому лицу, «в этой исповеди еще нет сомнения в ней самой», это «размышления и переживания вслух, но не с самим собой» [6, с. 113]. С точки зрения исследователя исповедь монологична и наиболее органичной исповедальной формой является дневник; при этом, анализируя дневники Толстого и Чернышевского, он практически избегает слов «исповедь» и «исповедальность», хотя в дневниках того и другого выделяет одно из важнейших исповедальных начал – «способность ставить самих себя в положение наблюдаемого» [6, с. 113]. Морозенко явно не учитывает диалогическую природу исповедального слова. «Почти материальная среда существования личности» достигается в переписке Станкевича именно благодаря всепроникающей исповедальности со всеми присущими ей типологическими чертами: искренностью, почти дневниковой автобиографичностью, естественной для эпистолярного письма диалогичностью, исповедальной многожанровостью и «недремлющей оглядкой на себя, или *рефлексией*», которая подмечала «настроение души в самую минуту ее развития» [1, с. 122].

К своему самому близкому другу Януарию (Януарий Михайлович Неверов) Станкевич обращается как к исповеднику, раскрывая ему потаенные уголки своей души, делится всеми своими впечатлениями и

мыслями. Он и есть тот «ближний», искренние признания которому приближают к Богу. После отъезда Неверова за границу в 1833 году Станкевич пишет ему письма почти ежедневно. В письме от 1 мая 1833 года читаем: «Друг мой! Я дорого дал бы за то, чтобы святыня души твоей не возбуждала укоров в моей душе. Но может быть тебе назначено очистить мою душу» [5, с. 32]. Письмо заканчивается словами: «Я всегда с тобою! Бог милостив: мы вновь найдем друг друга, встретимся... и пламеннее благословим Иисуса за святые чувства, которыми Он наградил человека. Да будет над тобою милость Распятого; об этом молить Его – дружба!» [5, с. 33]. Вот еще пример святой искренности по отношению к другу в письме от 13 октября 1833 года: «Да, ангел мой! Я чувствую над собою кроткую десницу Искупителя, который не дал бурям жизни похитить у меня мое блаженство. Ты, ты мой друг – поэзия души моей! Ты способен пересоздать меня, ты можешь поддержать во мне все святое» [5, с. 54].

Приподнятая, восторженная, молитвенная интонация, не лишенная литературности, пронизывает всю переписку. Однако это не мешает Станкевичу в тех же письмах проявлять свою, вполне земную, наблюдательность, быть, по-пушкински, шутливым, остроумным, ироничным. Интонационный регистр постоянно переключается, и это в форме дружеского письма не кажется натянутостью, неестественностью. Это, скорее, дает возможность пишущему письму проявляться с разных сторон, высвечивать целостность своей натуры.

Иногда переписка становится прямым обменом «исповедями». В письме к Т.Н. Грановскому от 29 сентября 1836 года Станкевич пишет: «Буду отвечать тебе на твою исповедь и на твои сомнения точно также, как я отвечаю себе на свои... Чтоб нам лучше понимать друг друга, я расскажу тебе в немногих словах историю моей душевной жизни, исключив из нее все, что относится к *домашнему быту* моей души: это дело постороннее» [5, с. 194-196]. Подчеркнем, что для Станкевича исповедальность – путь к самопознанию – диалогичен по природе. Понять другого – это значит рассказать ему историю собственной души; и наоборот, понять себя – значит выслушать исповедь другого. Причем речь идет о самом важном – о собственном предназначении, о смысле собственной жизни. Здесь нет ни назидания, ни проповеднического пафоса, но есть внимательное, заинтересованное отношение к внутреннему становлению, духовному росту друг друга.

Отправным для каждого становится его собственная душа, ее запросы, и каждый стремится в зеркале другой души, души друга, распознать себя. Феномен переписки в том, что в ней царит дух равноправия и свободы, раскрепощенный обмен внутренним, еще не устоявшимся «багажом» мыслей и чувств. В письме к Грановскому Станкевич раскаивается в самом главном – в недоверии к собственной душе, в подражании чужому, исходящему извне; он окончательно решает заняться философией. Он пишет: «Г-ий, веришь ли? Оковы спали с души, когда я увидел, что вне одной всеобъемлющей идеи нет знания, что жизнь есть самонаслаждение любви и что все другое – призрак.

Да, это мое твердое убеждение. Теперь есть цель передо мною: я хочу полного единства в мире моего знания, хочу дать себе отчет в каждом явлении, хочу видеть связь его с жизнью целого мира, его необходимость, его роль в развитии этой идеи». И тут же звучит призыв к другу: «Больше простора душе, мой милый Г-ий! Теперь ты занимаешься историей: люби же ее, как поэзию, - прежде нежели ты свяжешь ее с идеєю, - как картину разнообразной и причудливой жизни человечества, как задачу, которой решение не в ней, а в тебе, и которое вызовется строгим мышлением, приведенным в науку. Поэзия и философия – вот душа сущего. Это жизнь, любовь; вне их все мертво» [5, с. 197]. Здесь отчетливо проявляется характер философствования Станкевича, в котором изначально отсутствует академическая сухость теоретизирования, рациональные посылы систематизации мысли. Все сухо и мертво и в жизни, и в философии без животворящих начал – поэзии и любви.

Любовь, как Богом данное человеку чувство, жертвенна, абсолютно бескорытна, и эту божественную любовь, это «самонаслаждение любви» Станкевич хочет осмыслить как всеобъемлющую идею. Более того, он мечтает не только и не столько ее сформулировать, теоретически обосновать, но и жить, воспринимать жизнь по законам любви. В «Моей метафизике», изложенной в одном из писем, Станкевич, рассуждая об отношении человека к природе и Разумению (Разуму, Творцу), заключает: «Рассудок мой подтверждает эти положения; сердце мое не противоречит им и чисто верит в те минуты, когда я люблю» [5, с. 20]. В незаконченных, предсмертных заметках о науке Станкевич писал: «Да. Философия есть ход к абсолютному. Результат ее есть *жизнь идеи* в самом себе. Наука кончилась. Далее нельзя строить науки и начинается постройка жизни» [5, с. 223].

Феномен переписки Станкевича заключается не только в том, что она стала органичной формой философствования, но и в ее исповедальности – уникальном состоянии души и одновременно неизменном творческом качестве, позволяющем синтезировать отвлеченную мысль и конкретное переживание жизни.

Размышления Станкевича, безусловно, резонировали в сердце молодого Толстого, посвятившего себя поиску всеобъемлющей идеи, не противоречащей ни разуму, ни сердцу. Толстой не мог не увлечься личностью Станкевича. Много, что ему открылось в переписке Станкевича (восторженный отзыв о переписке в письме к А.А. Толстой от 23 августа 1858 г.), найдет отражение в его собственных дневниках, письмах, художественном творчестве, в его философско-религиозных исканиях. Главное, в чем они «совпали» - это «уяснение собственной души», «недремлющая оглядка на себя», доверие только к тому, что воспринято и пережито внутренне. Форма переписки для обоих – органичный, исповедальный способ самовыражения и самопознания. Непосредственная передача чувств и мыслей в переписке, касалось ли это бытовых, каждодневных, интимных впечатлений, словом, «мелочности», как сказал бы Толстой, или «домашнего быта души», как говорил Станкевич, не мешало

«генерализации» - постановке самых важных вопросов, касающихся смысла человеческого бытия. Переписку самого Толстого (с Н.Н. Страховым, А.А. Толстой, С.С. Урусовым) можно назвать продолжением *традиции философско-исповедальной переписки*, положенной Н.В. Станкевичем. Переписка Толстого с А.А. Толстой, в которой впервые упоминается Станкевич, также носит исповедальный характер. Ярчайшим примером переписки, в которой органично сосуществуют философское и исповедальное начала, является многолетняя переписка Л.Н. Толстого и Н.Н. Страхова.

Переписка Толстого и Страхова продолжалась двадцать шесть лет и насчитывала 467 писем. Исследовательский интерес к переписке обусловлен необходимостью проникновения в глубинную природу творческого диалога, который, при определенном «единстве воззрений на жизнь», «на известной высоте душевной не соединяет, как это бывает в низших сферах деятельности, для земных целей, а оставляет каждого независимым и свободным» [4, т. 1, с. 14]. Здесь мы имеем дело с диалогическим процессом «высвобождения» той духовной энергии, которая необходима обоим в сложный период их творческих исканий.

Структура переписки прозрачна и сложна одновременно. Ее внешняя канва, несмотря на многоаспектную насыщенность и разноплановость, может рассматриваться с точки зрения разных эпистолярных уровней, которые формируются и развиваются по ходу жизненных обстоятельств и отражают не только личные творческие контакты Толстого и Страхова, но и эпохальные перипетии. Переписка носила одновременно и деловой, и информационно-публицистический, и глубоко дружеский характер. Каждый из уровней переписки, безусловно, заслуживает отдельного исследования, так как, по словам А.А. Донскова, переписка писателя и философа представляет собой «незатронутый источник».

С нашей точки зрения, переписка интересна как обоюдный, глубоко творческий процесс взаимного постижения, проникновения во внутренний ход мыслей и чувств друг друга. «Занят я Вами беспрестанно» [4, т. 2, с. 759]; «Но что бы я ни делал, я всегда о Вас думаю...» [4, т. 2, с. 784]; «Всегда от Вас я получал освежение, всегда Ваши речи и все Ваше присутствие подымали меня; много я о Вас думаю и много люблю Вас и потому видеть и чувствовать Вашу душевную жизнь лицом к лицу – для меня большая радость, сильно меня трогает и оживляет» [4, т. 2, с. 792], - пишет Страхов Толстому. Открываться перед Толстым «как на духу» становится жизненно необходимым для философа. «Ваша внутренняя жизнь всегда меня очень интересует и представляется мне значительной очень, несмотря на внешнее ее однообразие [4, т. 2, с. 1004], - пишет Толстой Страхову. Толстой вдумывается «в те душевные особенности» друга, которые, как ему кажется, «он знает по себе» [4, т. 2, с. 998]. И продолжает: «На то только мы, любящие друг друга люди, и нужны друг другу, чтобы общаться духом» [4, т. 2, с. 698]. Необходимым становится не только обоюдное всматривание, распознавание внутреннего состояния, но и постоянное, заинтересованное

обсуждение творческих достижений друг друга; требование не только похвал и лестных отзывов, коими изобилуют письма Страхова, но и жесткой критики и самокритики, на которой настаивает Толстой. Речь в данном случае идет не столько о внутренних совпадениях и согласованности «одних и тех же взглядов на жизнь» (в таком случае истинно творческого диалога, безусловно, не получилось бы), сколько о преодолении в переписке всякой умышленности, искусственности, этикетности, мешающей распознаванию «чужого» и «родного», «сближающего» и «разделяющего». Тут мы имеем дело с особым уровнем переписки с ее внутренней интригой, раскрывающейся только в текстах писем. Проникновение в этот исповедальный, духовно-интимный слой переписки представляется нам первостепенным, так как позволяет неформально представить весь самый сложный комплекс идей и проблем, мучительно решаемых в этот переходный, кризисный для обоих период.

Поиск и освещение духовно-нравственных основ жизни в доступных научному познанию пределах и рамках, либо разрушение их и переживание этого процесса внутри себя и для себя – вот основная смысловая оппозиция, на которой выстраивается внутренняя коллизия переписки художника и ученого. Интенсивность и глубина внутренних исканий продиктована необходимостью обретения чувства истинности жизни, поиском «сердечного знания», исключая фальшь, искусственность, претенциозность, «чуждость» к которым ощущает и Толстой, и Страхов. «О, риторика! тебя ничем и никогда не выжить. Всегда только как редкое исключение будут некоторые *писать*, остальные же *сочинять* [4, т. 1, с. 98], - писал Страхов Толстому. Сочинительство чуждо переписке, сориентированной на разговор о главном, существенном: «...сначала о так называемых делах, т.е. о пустяках, а потом не о делах, т.е. о существенном» [4, т. 1, с. 14], - так начинается одно из первых писем к Страхову Толстой. Существенным является вопрос о смысле жизни, путях его постижения и реализации. На протяжении всей переписки он остается стержневым и определяющим ее динамику. Специфику этого судьбоносного для обоих диалога определяет то, что в нем участвуют глубоко симпатизирующие друг другу, близкие по мироощущению, но совершенно разные по натуре личности: активный, деятельный, бесстрашный субъективист-Толстой, для которого его «я», смысл его жизни становится отправным, и объективный мыслитель Страхов, для которого собственное «я» не представляет никакого интереса, а его личная жизнь никак не вписывается (поначалу) в русло столь важного разговора.

К началу переписки и Толстой, и Страхов уже состоявшиеся творческие личности, за плечами которых почти 50 лет жизни; оба испытывают глубокую неудовлетворенность окружающим и собой; оба нуждаются в «задушевном» собеседнике, способном понять, проникнуть во внутренние переживания и размышления Другого. Абсолютная непохожесть Толстого и Страхова чрезвычайно важна для понимания творческой природы

диалога, развития его внутренней коллизии, которая, собственно, и является главным предметом нашего осмысления.

Абсолютная непохожесть Толстого и Страхова не только не мешала диалогическим отношениям, но стала питательной почвой для их плодотворного развития. Страхов в своем исповедальном письме отмечал: «Присматриваясь к людям, я наконец замечаю и то, что в них много тех самых черт, которые я готов был считать своею особенностью, и тогда, *рассматривая себя в них* (курсив мой – И. С.), начинаю смотреть на себя иначе, чем в том хаотическом и печальном «свете», в котором обыкновенно созерцаю собственную фигуру» [4, т. 2, с. 543]. В своем исповедальном саморазоблачении перед Толстым Страхов, по сути, определяет «механизм» творческих диалогических отношений: необходимость взглянуть на себя, самоопределиться через призму другого; увидеть себя в другом, чтобы вернуться к себе, чтобы окончательно ощутить свою самобытность. Внутренняя жизнь каждого, и Толстого, и Страхова, становится тем психологическим зеркалом, взглянув в которое, возникает неистребимая потребность в самоанализе, в окончательной самопроверке и самоопределении. Именно поэтому Толстому 70-х годов нужен не только Страхов - проникновенный слушатель и умнейший собеседник, но и Страхов исповедально саморазоблачающийся. Исповедальность становится, с нашей точки зрения, той внутренней основой, на которой и из которой вырастает все остальное, вся сложнейшая умственная и духовная работа каждого.

Прежде чем определить по отношению к окружающему миру, к науке, философии, искусству, религии, необходимо самоопределиться и этому самоопределению способствует «погружение» в другого. Уникальность переписки в том, что она запечатлела не только толстовский путь к «Исповеди», но и исповедальное развитие Страхова. Это исповедальное саморазоблачение инициирует Толстой, который и становится его «исповедником». Именно перед ним, абсолютно не сосредоточенный на себе Страхов, «омывает свою душу» и считает его «судьей, перед которым ни за что не хотелось бы провиниться» [4, т. 2, с. 775]. Однако исповедальные признания Страхова не превращают мягкого и податливого философа в марионетку в «руках» мятущегося, мощно преображающего себя и окружающее, Толстого, но в определенном смысле укрепляют его духовно, помогают обрести внутреннее самостояние. В этом, думается, и заключается вся благотворная сила и тайна творческих диалогических отношений.

С самого начала Толстой определяет некий уровень диалогических отношений со Страховым. В разговоре «о существенном» должна, по его мысли, возникать не столько близость, сколько чуждость, независимость и свобода. Именно это состояние Толстой испытал с Ф. И. Тютчевым и Н. Н. Страховым, «чуждыми путешественниками», повстречавшимися ему «на этой пустынной дороге». Однако сам Толстой не выдерживает сухой отстраненности и объективной холодности чисто интеллектуального общения. Он слишком возбужден, мучается внутренними сомнениями, жаждет сокровенного, исповедального разговора.

Сдвиг в отношениях начинается после прочтения Толстым книги Страхова «Мир как целое». Естественнонаучную работу Страхова Толстой воспринимает субъективно, ему «не хватает нравственного смысла в книге (указания на идею добра)» [4, т. 1, с. 92]. Страхов моментально, будто ожидая именно этого замечания, откликается: «О, как бы я хотел иметь точные формулы для Вашего взгляда, для мысли о нравственной цели мира, и как бы хотел видеть отношение этой мысли ко всему, что есть в моей книге и... от чего я не могу отказаться!» [4, т. 1, с. 92]. С этого момента в переписке разворачивается диспут о методе познания сущности жизни, о роли философии, науки, религии в постижении ее смысла, о возможности или невозможности примирения научно-объективного и духовно-субъективного в понимании своего «я» и мира. Однако в марте 1875 года, в пору интенсивного писания и печатания «Анны Карениной», Толстой пишет Страхову: «Вы думаете, что я о себе одном думаю. Напрасно. Я чувствую людей, которых я люблю, и я чувствую вас и знаю, что в вас в эти два года... многое выросло внутри, и я догадываюсь, но мне хочется подробно узнать, ощупать, что и куда?» [4, т. 1, с. 205]. Страхов из Рима откликается: «Но я писал Вам все о Вас, да о Вас потому, что искренно вхожу в Ваши интересы и мысли. Я поступаю так почти со всеми, даже иногда с пустейшими людьми... Но что правда, то правда; я от Вас скрывался, я не был откровенен, говоря о самом себе. Отчего же? Скажу прямо – мне было стыдно открывать Вам то уныние, тот упадок духа, которые овладели мною...» [4, т. 1, с. 207]. Вот начало исповедальной переписки. Толстой только теперь, на пятом году интенсивного общения со Страховым, распознает в нем глубокую внутреннюю неудовлетворенность. «Немножко мне открылось ваше душевное состояние, но тем более мне хочется в него проникнуть дальше» [4, т. 1, с. 211]. Это желание проникнуть дальше зиждется не «на умственном интересе», который преобладал в общении со Страховым, а «на сердечном влечении». Далее Толстой советует Страхову освободиться от излишней объективности, открыто и искренне проявить свое внутреннее духовное ядро, не стыдиться саморазоблачения. «Вы всегда говорите, думаете, пишете об общем – объективны. И все мы это делаем, но ведь это обман, законный обман, обман приличия, но обман, вроде одежды. Объективность есть приличие, необходимое для масс, как и одежде... И вы слишком одеваетесь объективностью и этим портите себя, для меня по крайней мере. Какие критики, суждения, классификации могут сравниться с горячим, страстным исканием смысла своей жизни?» [4, т. 1, с. 211]. Именно с этого момента переписка приобретает новые черты, четко подразделяясь на собственно философские письма с неизменными исповедальными вкраплениями и дружеские. Теперь Толстой и Страхов движутся в одном философско-исповедальном русле, которое приводит одного к «Исповеди», к окончательной духовной и творческой перестройке, обретению религиозной основы в жизни и творчестве, другого – к новому этапу философской деятельности, главным в которой становится нравственный смысл постигаемого. Однако непохожесть движения очевидна: один, Толстой,

воодушевлен и мучительно «работает» мыслью и сердцем, чтобы добыть решение или пояснение высших вопросов; другой, Страхов, «будто усталый и бессильный», только вечно смотрит на эти вопросы, только беспрестанно обращается к ним своею мыслью, почти не ожидая разрешения.

Вопрос о пассивном и деятельном отношении к жизни становится одним из ключевых в переписке. Внутренняя интрига диалога строится по сути на столкновении глубоко не равнодушного, но все же абстрактно-созерцательного, внутренне рефлексирующего, но не реализующего себя в конкретных поступках, Страхова, и активно преобразующего себя и окружающее, требующего непрерывного вмешательства, бесконечно стремящегося к единству слова и поступка Толстого.

С этой точки зрения за Страховым тянется шлейф опыта, так называемых, кающихся, но ничего не предпринимающих «лишних людей». Однако именно Страхов с восторгом воспринимал жизнотворческую энергию и полноту Толстого: «Вы, Лев Николаевич, не только гениально пишете, но и гениально живете» [4, т. 1, с. 325]. Страхов неустанно называл Толстого не только «самым цельным и последовательным писателем», но и «самым цельным и последовательным человеком». В 1893 году, в пору интенсивной работы Толстого над «Царством Божиим внутри вас», Страхов писал ему: «Вы очень счастливы – нет, не так нужно говорить – самое существенная Ваша черта в том, что Вашу жизнь и деятельность Вы на самом деле подчиняете Вашим убеждениям, не только избегаете противного им, но и исполняете то, что с ними согласно. И Вы столько сделали, не только думали, а действительно сделали! Более полной жизни трудно придумать. Как нелепы все толки о том, что Вам нужно было бы оставаться романистом, и что вы заблуждаетесь, вздумавши сверх того быть человеком!» [4, т. 2, с. 916]. Страхов при этом не был безоговорочным поклонником и последователем идей Толстого, его религиозной этики. Он не раз указывал великому Льву на «голую назидательность», призывая его не забывать себя самого – художника. Однако это не мешало ему «поверить» себя в свете толстовской жизнотворческой полноты, сравнивать себя с ним. Более того, сквозь призму феномена толстовской целостности Страхов пытался осмыслить некое переходное состояние всей русской жизни. Однако самого Толстого состояние зыбкости, раздвоенности уже не устраивает. Он неизменно движется вперед и провоцирует к этому движению Страхова.

Формой данного движения для Страхова, с точки зрения Толстого, должна была стать исповедь. Он считал, что Страхову «недостает толчка веры в себя, в важность дела, недостает энергии заблуждения, земной стихийной энергии, которую выдумать нельзя» [4, т. 1, с. 423]. Толстой всячески провоцирует колеблющегося Страхова на исповедальное слово. Страхов прислушивается к его совету, «подумывает» и «укрепляется в мысли» написать не биографию, но что-то подобное исповеди. «Напишу *Вместо исповеди* и посвящу Вам. Боюсь, что разыграются дурные чувства, которых так много возбуждает в нас наше милое Я» [4, т. 1, с. 458], - не без иронии замечает Страхов. «Истинно радуюсь и горжусь тем, что мой совет –

писать свою жизнь, занял вас» [4, т. 1, с. 462], - отвечал Толстой, ожидая многое от страховской исповеди. В это время Толстой сам пишет набросок под заглавием «Моя жизнь», начатый еще в 1878 г., который можно назвать прелюдией к «Исповеди».

Когда же исповедь Страхова, полная горечи саморазоблачения и неверия в себя, все же прозвучала в письме от 17 ноября 1879 года, Толстой резко и безапелляционно ответил: «И вам писать свою жизнь нельзя. Вы не знаете, что хорошо, что дурно было в ней. А надо знать». Судя по тону советов, которые далее дает Толстой, он сам уже переступил через черту сомнений, его устами заговорил проповедник: «Верьте, перенесите центр тяжести в мир духовный, все цели вашей жизни, все желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни. Делайте дела Божии, исполняйте Волю Отца, и тогда вы увидите свет и поймете» [4, т. 2, с. 545].

Так зачем же Толстому понадобилась исповедь Страхова? Думал ли он помочь другу, приобщить его к собственному пути в искании истины, или «примеривался» к Страхову как художник, видя в нем прототип одного из героев. Скорее всего, исповедь Страхова послужила для него толчком к окончательному преодолению своего всепоглощающего «я», внутреннему преображению и окончательному обретению духовной основы – веры в Бога, предоставляющей право публичной исповеди и проповеди.

С другой стороны, исповедальный опыт, который не прекращался до конца переписки, помог Страхову не только «сбросить мундир и ордена», но и окончательно уяснить свое истинное предназначение. «Об Вашем совете я прилежно думал и наконец сказал себе: Как странно! Они хотят, чтобы я перестал быть самим собою! Ведь моя объективность и есть выражение моего ума, моей природы. Я не могу говорить о своих личных делах и вкусах; мне это стыдно, стыдно заниматься собою и занимать других своею личностью» [4, т. 2, с. 909]. Он остается верен самому себе, несмотря на то, что до конца дней своих продолжает исповедоваться перед Толстым. Страхов ищет «общие мерки чувств и мыслей», не выставляя «за норму, пример и закон своих мнений и волнений» (4, т. 2, с. 909-910). В своем творчестве философ стремится «возводить свои мысли до общеинтересного, для всех законного и убедительного», и только тогда он уверен, что «не обманывает свойства своей души [4, т. 2, с. 910].

Таким образом, исповедальное начало переписки Толстого и Страхова, продолжающей традицию, начатую Н.В. Станкевичем, помогает не только уяснить ее внутреннюю динамику, но и убедиться в том, что, двигаясь в одном направлении в постижении истины, оба преодолевают «разговорность» и отвлеченную абстрактность в обсуждении онтологических проблем, оба искренни и открыты в диалогическом пространстве переписки. Русская эпистолярная культура стала тем *свободным* пространством, в котором абсолютно неформально творилась и переживалась философская мысль. В целом эта живая, исповедально-диалогическая культура является, с нашей точки зрения, уникальным явлением, позволяющим по-новому взглянуть на природу отечественной философской и художественной мысли.

Список литературы

1. Анненков, П.В. Биография Николая Владимировича Станкевича / П.В. Анненков // Николай Владимирович Станкевич : переписка его и биограф., написанная П.В. Анненковым / Н.В. Станкевич. – Москва, 1857. – С. 1-237.
2. Гинзбург, Л.Я. «Былое и думы» Герцена / Л.Я. Гинзбург. – Москва : Гослитиздат. Ленингр. отд-ние, 1957. – 374 с.
3. Лазарчук, Р.М. Переписка Толстого с Т.А. Ергольской и А.А. Толстой / Р.М. Лазарчук // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль : сб. ст. / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; под ред. Г.Я. Галаган, Н.И. Пруцкова. – Ленинград, 1979.
4. Л.Н. Толстой и Н.Н. Страхов : полное собрание переписки = L.N. Tolstoy & N.N. Strakhov : Complete correspondence : в 2 т. / сост.: Л.Д.Громова, Т.Г. Никифорова ; ред. А.А. Донсков. – Ottawa ; Москва : Гос. музей Л.Н. Толстого, 2003. – Т. 1. – 488 с. – (Tolstoy Series ; т. 6) ; Т. 2. – С. 489-1080 : 1 л. портр. – (Tolstoy Series ; т. 7).
5. Станкевич, Н.В. Николай Владимирович Станкевич : переписка его и биограф., написанная П.В. Анненковым / Н.В. Станкевич. – Москва : Тип. Каткова и К°, 1857. – 238, 395 с.
6. Морозенко, Л.Н. У истоков нового этапа в развитии психологизма : ранние дневники Толстого и Чернышевского / Л.Н. Морозенко // Л.Н. Толстой и русская литературно-общественная мысль : сб. ст. / АН СССР, Ин-т рус. лит. (Пушкин. дом) ; под ред. Г.Я. Галаган, Н.И. Пруцкова. – Ленинград, 1979. – С. 112-132.
7. Тынянов, Ю.Н. Литературный факт : сб. / Ю.Н. Тынянов. – Москва : Высш. шк., 1993. – 318 с.

References

1. Annenkov, P.V. Biografiya Nikolaya Vladimirovicha Stankevicha / P.V. Annenkov // Nikolaj Vladimirovich Stankevich : perepiska ego i biogr., napisannaya P.V. Annenkovym / N.V. Stankevich. – Moskva, 1857. – S. 1-237.
2. Ginzburg, L.YA. «Byloe i dумы» Gercena / L.YA. Ginzburg. – Moskva : Goslitizdat. Leningr. otd-nie, 1957. – 374 s.
3. Lazarchuk, R.M. Perepiska Tolstogo s T.A. Ergol'skoj i A.A. Tolstoj / R.M. Lazarchuk // L.N. Tolstoj i russkaya literaturno-obshchestvennaya mysl' : sb. st. / AN SSSR, In-t rus. lit. (Pushkin. dom) ; pod red. G.YA. Galagan, N.I. Pruckova. – Leningrad, 1979.
4. L.N. Tolstoj i N.N. Strahov : polnoe sobranie perepiski = L.N. Tolstoy & N.N. Strakhov : Complete correspondence : v 2 t. / sost.: L.D. Gromova, T.G. Nikiforova ; red. A.A. Donskov. – Ottawa ; Moskva : Gos. muzej L.N. Tolstogo, 2003. – T. 1. – 488 s. – (Tolstoy Series ; t. 6) ; T. 2. – S. 489-1080. – (Tolstoy Series ; t. 7).
5. Stankevich, N.V. Nikolaj Vladimirovich Stankevich : perepiska ego i biogr., napisannaya P.V. Annenkovym / N.V. Stankevich. – Moskva : Tip. Katkova i K°, 1857. – 238, 395 s.
6. Morozenko, L.N. U istokov novogo ehtapa v razvitii psihologizma : rannie dnevniki Tolstogo i Chernyshevskogo / L.N. Morozenko // L.N. Tolstoj i russkaya literaturno-obshchestvennaya mysl' : sb. st. / AN SSSR, In-t rus. lit. (Pushkin. dom) ; pod red. G.YA. Galagan, N.I. Pruckova. – Leningrad, 1979. – S. 112-132.
7. Tynyanov, YU.N. Literaturnyj fakt : sb. / YU.N. Tynyanov. – Moskva : Vyssh. shk., 1993. – 318 s.